Дмитрий Быков

# Веселый солдат

Собеседник – 2001 – 12 дек. – с. 3.

В телеинтервью Астафьев говорил Караулову: ты знаешь, что такое писательство? Это — когда я буду помирать, и то буду думать: так ли я написал про смерть?

А про смерть он писал много. Гибнут почти все любимые герои Астафьева, выживает только протагонист, рассказчик. Не только чтобы рассказать, засвидетельствовать, но и чтобы доказать неиссякаемую, великую русскую живучесть. Он ценил это качество, воспитанное в нем еще детдомом: ценил умение примоститься к земле, чтобы не убило, умение завернуться в шинель, чтобы согреться. «Меня не съешь — спереди костист, сзади говнист». Это была его поговорка.

Перед смертью Астафьев успел получить последний подарок от коммунистов-земляков — местная Дума отказала ему в повышенной пенсии. Астафьев комментировал это событие в своей манере, мат у него был виртуозный, теперь мало кто так умеет. Ему и не было ничего от них нужно, сам сроду ни о чем не попросил. А впрочем, это и впрямь был подарок: семидесятисемилетний, маститый, при жизни названный великим, переведенный на все европейские языки, патриарх и главная достопримечательность Сибири, — он оставался живым, активно работающим, опасным. Оттого каждая новая его вещь вызывала не просто споры, но драки. Как он может — с такой злобой, с такой яростью? Да наша великая гуманистическая традиция... просветление... катарсис... Этот же — чистая месть, натурализм, чудовищные подробности, кипящая желчь, грубейшая лексика... Война без героизма, Сибирь без ее красот, деревня без умилительной корневой духовности...

Они кое-чего не понимали, его оппоненты из разных станов. Им невдомек было, что он не деревенщик, не сусальный патриот и не певец народного патриотизма. Он был тончайшим эстетом, бог весть как сформировавшимся в детдоме и окопах. Обладал фантастической чувствительностью и немилосердной памятью. И то, что стало для множества его забитых, спившихся, смирившихся земляков нормальным фоном жизни, для него было вечной незаживающей язвой. Россия научилась умиляться своей нищете и грязи, пускать фальшивую слезу над миллионами своих загубленных детей — а он не хотел. Он предъявлял счет. Он знал, каким задуман русский человек, и с жгучей обидой смотрел на то, во что этот человек превратился. А потому Астафьев и не вписался ни в одну обойму.

Теперь он навеки вписан в единственный ряд, в котором ему стоять не зазорно: в ряд больших русских писателей, спасавших честь своей страны в страшное для нее время. Для всех, кто еще хочет жить в этой стране и работать в ее литературе, он остается вечным примером мужества и гордости. И еще — веселья. Он был веселый солдат.